

# Моя работа с Прокофьевым

(Окончание.)

Начало на 7-й стр.)

Иногда оказывалось, что у Прокофьева за столом собиралось несколько музыкантов — например, сразу Рихтер, Ростропович и я. Обычно Слава Ростропович брал беседу в свои руки, развлекал всех присутствующих живым разговором и каскадом шуточных реплик; тогда Прокофьев с явным удовольствием на лице сидел молча и умиротворенно. Ему нравилось, что он среди молодежи, что он — уважаемый маэстро — в центре внимания.

О себе он обычно не говорил. Запомнилось, правда, что однажды зашла речь о записи Третьего концерта, который Прокофьев исполнил с Лондонским оркестром под управлением П. Коппола.

Прокофьев сказал, что этой записью он недоволен. Оказывается, знаменитого Прокофьева пожелал увидеть принц Уэльский. Принц явился на запись, уселся и стал в упор смотреть на Прокофьева. Это всем мешало и, по словам Прокофьева, сказало на записи. В связи с этим мне вспоминается рассказ жены Прокофьева — Лины Ивановны — еще об одной записи, которую Прокофьев сделал в Америке. Они оказались в какой-то момент без денег, и тут почему-то возникло предложение наиграть на пластинку "Шехерезаду" — в фортепианном изложении! Прокофьев взялся за эту "халтуру" — кажется, он сам и сделал переложение. Во время записи музыка была сыграна кое-как, чуть ли не с фальшивыми нотами. Не знаю, известно ли сегодня кому-либо о существовании этой курьезной пластинки?

Если случилось остаться на даче у Прокофьева до позднего вечера, то нам предлагали заночевать. Тогда наутро, узнав, что Прокофьев принимается работать, мы обычно уезжали. Но бывало и так, что садились в машину и отправлялись за Николину гору, на природу. Он такие прогулки любил. Гуляли, беседовали, затем возвращались к работе. Вообще же, в доме Прокофьевых царил упорядоченный, размеренный образ жизни.

Работать с Прокофьевым было приятно: царил атмосфера деловая, его замечания всегда были по существу, целенаправленные и высказывались в хорошей, спокойной манере.

Известна легендарная точность Прокофьева. Зная о его нетерпимости к опозданиям, я обычно был аккуратен. Но как-то раз Нейгауз стал соблазнять меня пойти вместе на выставку В. Серова. Пойти мне хотелось, но оставалось мало времени до назначенных мне Прокофьевым трех часов дня, когда мы должны были встретиться у него дома, в проезде Художественного театра. А Нейгауз был человек... так сказать, легкий: "А, — махнул он рукой, подхватывая меня, — ничего, подождет!" Мы пошли на выставку, а я придумал: опоздаю-ка ровно на час! В четыре часа звоню в квартиру Прокофьева. Он выходит и говорит укоризненно, без раздражения, которое было бы уместно в таком положении:

— Вы опоздали на час. Мы договорились в три.

— Как, Сергей Сергеевич?! Вы перепутали! В четыре!

Прокофьев на мгновение задумался. Видимо, часы назначенных деловых встреч он не записывал, а держал в памяти. И, поддавшись убедительности, с какой я, молодой, произнес это: "Вы перепутали!", — поверил, что память его действительно подвела:

— В четыре? — неуверенно переспросил он...

Словом, резкий, непримиримый Прокофьев остался где-то в прошлом.

Это были времена уже после печально знаменитого постановления 1948 года. Тогда среди музыкантов, окружавших Прокофьева, оказались и такие, кто отошел от него, занялся его критикой. Остались и те, кто своего отношения к нему не изменил. Например, Семен Исаакович Шлифштейн. Его композитор це-

нил и уважал. Но в эти годы Прокофьев заметно отгородился — и от людей, и от музыкальной жизни. На темы, которые затрагивали сложившуюся ситуацию, он не заговаривал, а внешне тоже не показывал своего состояния. Мне, правда, довелось услышать от него фразу, которой я был поражен. Ему предложили вставить в арию Кутузова (опера "Война и мир") музыку на слова "Дерзнул коварный враг вступить на нашу землю". Он эту вставку сделал. Не особенно раздумывая, я ему сказал:

— Как вы можете в готовую музыку что-то вставлять по чужому желанию?

— А, мне теперь все равно, — ответил Прокофьев.

На публике он появлялся редко. Году, примерно, в 1950-м я играл Первый концерт, дирижировал Константин Иванов. Неожиданно выяснилось, что в зале Прокофьев. Иванов переволновался и умоляюще сказал: "Ну, Анатолий, вывозите!.." После исполнения Прокофьеву устроили овацию, и он с видимым удовольствием поднялся на эстраду, потом в артистической благодарил нас, исполнителей. Еще он слушал меня, когда я играл Восьмую сонату в Октябрьском зале. Он ушел сразу же после исполнения, а мне просил передать, что остался доволен тем, как прозвучала его соната.

При его жизни существовал круг музыкантов, в том числе и молодых, где он сам и его музыка почитались. С большим уважением относился к нему и Шостакович. (Я слышал рассказ, как молодой Шостакович пришел проиграть Прокофьеву свою Первую сонату. Тот якобы прослушал и произнес: "Сыграйте еще раз. Не понял". Шостакович сыграл еще раз. "Теперь понял", — сказал Прокофьев.)

Поклонники Шостаковича, однако, склонны были иначе, чем он сам, относиться к Прокофьеву. В среде почитателей Дмитрия Дмитриевича, да и не только среди них, существовало мнение, что прокофьевский симфонизм не интересен, что Прокофьев не умеет оркестровать. Прямолинейность его музыкального языка воспринималась как примитивность. Не все хотели и могли воспринять ту определенность, которая была свойственна как ему самому, так и его музыке.

Когда он закончил Седьмую симфонию, я демонстрировал ее в фортепианном изложении на заседании секретариата Союза композиторов. Это происходило летом 1952 года. Прокофьев оставался на даче и просил меня приехать к нему сразу после исполнения, чтобы услышать, как была принята его новая симфония. На Николину гору я приехал уже поздно, часов в девять вечера. Иду по дороге и вдруг вижу, что в темноте стоит Прокофьев. Он, оказывается, ждал меня здесь. Я был поражен этим, так как не представлял, насколько равнодушно может он относиться к реакции на свое сочинение...

Последней работой, в которой я сотрудничал с Прокофьевым, была новая редакция Пятой сонаты. Речь шла, правда, еще и о Шестом концерте — для двух фортепиано, струнных и ударных, который задумывался с расчетом, что его исполнителями-солистами будут Рихтер и я. Но кроме нескольких эскизов к концерту, Прокофьев ничего сделать не успел. А новая редакция Пятой сонаты была практически завершена. Два заключительных аккорда в конце первой части были помещены в контроктаву. Я обратил внимание Прокофьева на то, что в таких глубоких басах гармония слышна плохо. Он с этим согласился и перенес аккорды в большую октаву.

3 марта 1953 года я ушел от Сергея Сергеевича с последними авторскими указаниями по редакции сонаты. Условились, что снова я приду в пятницу. Но когда эта пятница — 6 марта — наступила, я получил телеграмму с сообщением, что вчера Прокофьева не стало...

25 мая 1976 года.